РОМАН САВИЩЕВ

ЦЕНА УДОБНОГО ЧЕЛОВЕКА

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. И ВСЁ ЖЕ НЕТ



Как обозначать свои границы без обвинений и говорить о том, что не подходит

Роман Савищев

Я Тебя Люблю. И Всё Же Нет. Как обозначить свои границы без обвинений и говорить о том, что не подходит

https://litres.ru/74747864
SelfPub; 2026

Аннотация

Вы терпите то, что вам не подходит, потому что боитесь обидеть близкого. Молчите, уступаете, накапливаете раздражение — а затем срываетесь или отдаляетесь. Я разбираю, почему границы часто путают с холодностью и как обозначать свои пределы, не превращая каждый разговор в борьбу. В 30 эссе — страх отказа, семейные привычки молчать, конкретные формулировки для сложных разговоров, повторные проверки границ и восстановление доверия после напряжения. Вы узнаете, как сказать не только «мне так нельзя», но и «вот как со мной можно», сохраняя пространство для диалога и взаимности. При этом я различаю обычные разногласия и ситуации угрозы или насилия, где важнее безопасность, а не поиск компромисса. При подготовке книги применялись современные интеллектуальные инструменты, позволившие глубже проработать материал,

рассмотреть ситуации с разных сторон и сделать изложение более последовательным и удобным для читателя.

Содержание

Стена и дверь 7
Правило, которое никто не объявлял 17
Раньше, чем поздно 28
Чужая территория 38
Я, а не ты 49
Что граница защищает 60
Если любишь, то без условий 71
Я боялся, что стану чужим 82
Конец ознакомительного фрагмента. 83

Роман Савищев Я Тебя Люблю. И Всё Же Нет. Как обозначить свои границы без обвинений и говорить о том, что не подходит

Об этой книге

Эта книга про людей, которые не умеют говорить «мне это не подходит». Они терпят, потом взрываются из-за мелочи, потом чувствуют вину и обещают себе быть мягче. Со стороны это выглядит как характер: спокойный, уступчивый, надёжный. Изнутри это устроено как счёт, который никто не ведёт вслух, но который всё равно предъявят, и обычно в самый неподходящий момент.

Тридцать эссе, и в каждом одна ситуация и один механизм. Сначала о том, где вообще проходит граница и почему её путают со стеной: стена отгораживает от человека, дверь защищает отношения от накопленного. Потом о страхе: почему сказать о своём пределе кажется опаснее, чем терпеть годами, и откуда берётся уверенность, что после первого «нет» уйдут все. Дальше о языке: с чего начинать раз-

говор, что говорить, когда повторять, а когда отступать. Потом о проверках: границу пробуют на прочность не из зла, а чтобы убедиться, что она настоящая. И в конце о том, что остаётся, когда границы появляются: не холод, а тишина без трения.

В каждой главе есть приём с тремя шагами и критерием, по которому видно, сработал он или нет. Это не про то, чтобы стать жёстче. Скорее способ стать понятнее: рядом с человеком, у которого есть пределы, не надо угадывать, где они.

Одно уточнение. Эта книга не про то, чтобы перестать помогать и уступать. Люди, которые ничего не дают другим, не свободнее, они просто одиноки. Речь о другом: чтобы уступка снова стала выбором, а не привычкой, за которую потом выставляют счёт.

Все истории обезличены. Это не портреты конкретных людей, а собранные наблюдения: несколько случаев сведены в один, имена и детали, по которым можно узнать человека, изменены или убраны. Совпадения с реальными людьми случайны.

Автор не психолог и не врач. Книга не заменяет ни терапию, ни медицинскую помощь, ни честный разговор с близким человеком. Она про то, что можно заметить в себе и что с этим делать дальше.

Стена и дверь

В родительской квартире была дверь, которую я закрывал, когда хотел побыть один. Она не запиралась, и это было важно: закрыть можно, запереть нельзя. Я стоял за ней и слушал, как в коридоре ходят, и ждал, постучат или нет. Тогда я не знал, что именно это и есть граница: не стена, которую не обойти, а дверь, в которую можно постучать. Мне понадобилось тридцать лет, чтобы научиться закрывать её самому, а не ждать, пока закроют другие.

Стена в коридоре

Я говорю «мне это не подходит» и вижу, как человек отступает на полшага, будто я замахнулся. Он ничего не отвечает, уходит в комнату и закрывает дверь, а я стою в коридоре и не понимаю, что произошло. Я же сказал четыре слова, и сказал их спокойно, почти мягко, даже с той осторожностью, с какой говорят о трудном. Я стоял и ждал ответа, а получил закрытую дверь и звук шагов. Тогда мне казалось, что я поступил правильно и что неправильно повело себя что-то другое. Прошло несколько лет, прежде чем я услышал в своей фразе то, что услышал он.

Вечер идёт дальше, но уже по-другому. Он выходит на кухню, когда меня там нет, и это заметно по чашке, которую кто-то помыл и поставил в сушилку. Я хочу объяснить, что имел в виду совсем не то, что он услышал, и не могу найти

формулировку, потому что сам не знаю, что именно имел в виду. Я сказал о своём неудобстве, а получилось, что закрыл дверь. Чем дольше я ищу слова, тем яснее понимаю, что дело было не в словах, а в том, чего я не сказал. И это «не сказал» было важнее всего, что я произнёс.

Утром он спрашивает, серьёзно ли я. Я говорю, что серьёзно, потому что это правда: мне действительно не подходит. Он кивает и больше не спрашивает, и с этого кивка начинается неделя вежливости, в которой каждый ходит по своей половине коридора. Мы не ссоримся, не выясняем, не плачем; мы просто перестаём заходить друг к другу. И это оказывается хуже ссоры, потому что ссора заканчивается, а вежливость нет.

Только через несколько дней, перебирая этот разговор, я понимаю, где промахнулся. Я сказал, чего не хочу, и не сказал, чего хочу. Человек услышал первую половину, а первая половина без второй звучит как приговор: раз это не подходит, значит, не подходит и остальное, и я, и вечера, и три года. Он не стал спрашивать, потому что приговор не обсуждают. Он просто начал жить так, как будто его уже вынесли.

Так я и жил, думая, что граница — это когда отгораживаешься. Что надо построить стену, за ней станет спокойно, а как жить с этой стеной дальше, я не продумывал. Стены я строил легко и быстро, жить с ними было нельзя, и потому через месяц я сам же их разбирал. А потом удивлялся, что ничего не изменилось, и начинал заново, с той же фра-

зы и с тем же результатом. Двадцать лет я считал это свойством характера, а это был просто неправильно выбранный инструмент.

Молчание вместо двери

В моей семье границы ставили молчанием. Если кто-то был недоволен, он перестал разговаривать: не кричал, не объяснял, просто замолкал на два дня, и все понимали, что лучше не подходить. Это считалось приличным способом, потому что никто не ссорился и никто не повышал голос. Взрослые называли это выдержкой, а я называл это страхом, потому что мне было семь и я не знал, чем всё кончится. Я знал только, что надо быть тише.

Ребёнком я научился читать эту тишину быстрее, чем слова. Я знал, что если утром мне не ответили на «доброе утро», вечер будет тяжёлым, и весь день вёл себя осторожно, чтобы не сделать хуже. Я выучил десятки признаков: как поставлена чашка, как закрыта дверца шкафа, с какой силой опускается крышка кастрюли. Мне не приходило в голову, что можно иначе: сказать, что не нравится, и остаться в комнате, никуда не уходя. Такого способа в моём доме не показывали.

Была и обратная сторона, о которой я узнал гораздо позже. В доме, где всё читается по лицу, никто не обязан говорить, и потому никто и не умеет. Моя мать могла десять лет обижаться на одно и то же и ни разу не назвать, на что именно. Она ждала, что поймут, а мы ждали, что скажет, и так проходила жизнь. Когда я спрашивал прямо, она удивлялась:

разве не видно. Видно было только ей.

У отца была своя версия этой тишины. Он не обижался, он просто уходил в себя и работал в гараже до ночи, и его отсутствие было самым громким сообщением в доме. Я выучил, что мужчина, которому плохо, уходит и молчит, и потом много лет считал это единственным мужским способом держать себя в руках. Мне казалось, что так делают сильные: не жалуются, не объясняют, просто исчезают на время. И я исчезал, гордясь собой.

Когда я вырос и попробовал говорить прямо, у меня получилось то же самое, только словами. Я говорил резко, коротко, с тем самым лицом, которое в детстве означало «не подходи». Формально это была граница, а по сути та же стена, только теперь её было слышно. Я думал, что освоил новый способ, а на самом деле перевёл старый на другой язык. И люди реагировали так же, как реагировали когда-то на молчание.

Разница между молчанием и стеной небольшая, и она в одном: молчание оставляет надежду, что человек сам догадается. Стена не оставляет ничего. Я строил стены и удивлялся, что люди отходят, хотя отходить им было некуда: я стоял в проёме и не пускал. И самое неприятное, что я искренне считал себя человеком, который умеет говорить о своём.

Что защищает стена

Стена защищает от человека. Её ставят, когда хотят, чтобы его не было рядом, и она работает: человек уходит. Дверь

защищает отношения от накопленного. Она не убирает человека, она говорит, как с ним быть, и оставляет ему вход. Разница между этими двумя вещами не в твёрдости и не в силе голоса, а в том, что происходит после. После стены наступает тишина, после двери начинается разговор.

Разница видна не сразу, а через месяц. После стены становится тихо и пусто, и в этой пустоте быстро обнаруживается, что защищать было нечего: человек ушёл, а неудобство осталось. Оно было не в нём, а в том, что я не умел говорить. После двери становится непривычно, но людно: человек рядом, разговор был, и в доме появилось правило, которого раньше не было.

Стена дешёвая в постройке и дорогая в содержании. Её можно возвести за один вечер, для этого хватает одной фразы и одного лица. А потом за неё платят месяцами: приглашениями, которые не отправляются, темами, которых стараются не касаться, вопросами, которые не задают. Я платил эту ренту годами и называл её «мы просто не очень близки». Хотя близость была, просто мы оба перестали в неё заходить.

Человеку снаружи стена стоит дороже, чем мне. Он не знает, за что его отгородили, и начинает искать причину в себе, потому что другой причины ему не предъявили. Он придумывает объяснение, и обычно оно хуже правды: не «ему нужно говорить тише», а «я ему надоел». Я узнал об этом через годы, когда мне сказали, что я тогда «просто перестал звонить». Мне казалось, что я деликатно отошёл, а он запом-

нил, что его оставили.

Я думал, что граница — это про оборону, и потому строил её как оборону: с окопами, с наблюдательным пунктом, с готовностью отразить атаку. В такой логике каждый разговор был боем, а каждый собеседник противником, который вот-вот пойдёт на штурм. Неудивительно, что я уставал от людей, которых любил, и что они уставали от меня. Оборона требует постоянного напряжения, а жизнь рядом требует чего-то другого. Оказалось, что граница — постройка хозяйственная, а не военная. У неё другая задача: не отразить, а удержать в порядке то, что и так есть. Пока я путал эти две вещи, я или терпел, или воевал, и третьего варианта у меня не было. Третий появился только тогда, когда я перестал считать, что меня обязательно атакуют.

Я знаю человека, который прошёл через это наоборот. Он всю жизнь терпел, а потом решил, что с него хватит, и в один вечер выложил всё сразу: двадцать лет претензий, собранных в один монолог. Он думал, что ставит границу, а по сути построил стену в один кирпич толщиной и ушёл за неё сам. Через месяц он говорил, что его не поняли, хотя его поняли прекрасно: просто никто не согласился жить в доме, где стены ставят раз в двадцать лет и сразу наглухо.

Когда стена нужна

Есть случаи, где нужна именно стена, и делать вид, что везде можно поставить дверь, было бы неправдой. Если человек поднимает руку, если он унижает при других, если

угрожает, разговор о том, как заходить, звучит как издевательство. Там стена — единственный честный ответ, и ставится она одним действием: я ухожу, я прекращаю, я не участвую. И объяснять в этот момент нечего. В таком случае не надо объяснять и не надо оставлять вход. Объяснение предполагает, что у другой стороны есть право голоса, а у насилия такого права нет. Дверь нужна там, где есть двое; где один бьёт, двоих нет, и разговаривать не с кем. Это не жестокость, это точность: разговор об условиях возможен только между теми, кто признаёт друг друга.

Есть и другая стена, менее очевидная: с человеком, который уже показал, что слова для него ничего не значат. Он слышал десять раз, соглашался десять раз и делал по-своему десять раз. Здесь дверь превращается в приглашение продолжать, и её приходится закрывать, иногда навсегда. Отличить это от проверки можно по одному признаку: после разговора что-то меняется или нет. Но и в этих случаях полезно понимать, что ты строишь именно стену, а не «ставишь границу». Стена — честное признание, что отношения закончились или стали опасными. Путать её с границей опасно: под видом границы легко устроить человеку бойкот и потом называть это заботой о себе. Я так делал и знаю, как легко находится оправдание.

И есть ещё одна ловушка, в которую я попадал чаще всего. Когда не хватает смелости на разговор, стена кажется выходом: поставил и не надо ничего объяснять. Это не сила,

это отсрочка. Через месяц стена стоит, разговор не состоялся, и теперь к старому неудобству добавилось новое: взаимная осторожность, из которой уже не выбраться без большого скандала.

Дверь, а не стена

Приём простой, и в нём три части. Первая: назвать, что можно. Не только «не кричи», а и «говори тише, даже когда злишься». Человеку нужен способ, а не только запрет; запрет отнимает, способ даёт, и второе переносится гораздо легче. Об этом почему-то забывают: говорят, чего не хотят, и оставляют человека с пустыми руками.

Вторая: сказать, что нельзя. Здесь важно быть точным, потому что общее «мне не подходит, как ты себя ведёшь» не оставляет человеку ни одной зацепки. Конкретное можно услышать, общее можно только оспорить, потому что оно похоже на оценку человека целиком. Чем конкретнее сказано, тем меньше остаётся поводов защищаться.

Третья: оставить вход. Это самое трудное, потому что в момент обиды хочется закрыть всё. Но фраза «я не отменяю нас, я отменяю только это» меняет дело: человек слышит, что его не выгоняют, а просят заходить иначе. Без третьей части первые две превращаются в ту самую стену, и человек уходит, унося с собой уверенность, что его не любят.

Проверить, получилось ли, можно по одной вещи: понял ли человек, что ему можно. Если после разговора он спрашивает «а так можно?», значит, дверь на месте. Если он мол-

чит и не подходит неделю, значит, он увидел стену, и разговор надо начинать заново, уже с третьей части. Ошибка не в том, что сказал, а в том, что не сказал вовремя.

Бывает и так, что человек дверь видит, но заходить не хочет: ему нужна была стена, чтобы уйти с чистой совестью. Это тоже результат, и не самый плохой. Плохо другое: когда я из страха такого исхода вообще не говорю ничего и потом называю молчание терпением. Терпение кончается взрывом, а дверь, даже если в неё не вошли, остаётся открытой.

Бывает, что человек слышит только третью часть и не слышит первых двух. Он запоминает, что его не выгоняют, и решает, что можно продолжать как раньше. Тогда полезно повторить первые две части, не меняя формулировку, и не добавлять третью второй раз. Третья часть сказана один раз, как факт, и повторять её значит превращать дверь в переговорную позицию.

Как заходить

Теперь я говорю иначе, и это занимает на две фразы больше. «Мне не подходит, когда кричат. Говори тише, даже если злишься. Я никуда не ухожу». Три предложения вместо одного, и разница между ними огромная: в первом был приговор, в трёх есть дверь. Эти две лишние фразы стоили мне нескольких лет молчания.

Человек, который слышит такое, обычно не отступает на полшага. Он может обидеться, может не согласиться, может сказать, что я усложняю, но он не уходит в комнату, потому

что ему не закрыли вход. И тогда разговор возможен, а не превращается в двухдневное молчание. Иногда этот разговор занимает пять минут, иногда возвращается через неделю, но он есть.

Я не сразу научился третьей части. Первое время я произносил её сквозь зубы, как уступку, и человек это слышал: «я никуда не ухожу» говорилось таким тоном, что означало обратное. Пришлось повторять, пока фраза не стала ровной, и только тогда она начала работать. Тон здесь важнее слов, и подделать его нельзя.

Через год я заметил странное: двери оказались прочнее стен. Стена держалась, пока я стоял рядом и охранял её; стоило отвлечься, и всё возвращалось. Дверь держится сама, потому что за ней есть правило, которое знают оба, и никто не должен его охранять. Правило, которое знают двое, сильнее того, которое стережёт один.

Первый раз, когда это сработало по-настоящему, я запомнил по мелочи. Мы разговаривали на кухне, и я произнёс свои три фразы ровным голосом, без пафоса, как объявляют расписание. Человек помолчал и сказал: ладно. И через неделю сам, без напоминания, выключил телевизор, когда я вошёл. Я тогда понял, что граница работает не тогда, когда её объявляют, а когда её помнят без меня. Это не про то, чтобы ты ушёл. Это про то, как заходить.

Правило, которое никто не объявлял

В доме, где я вырос, почти ничего не называли вслух. Не говорили, что можно и что нельзя, не обсуждали, кто чем недоволен, не объясняли, почему вчера было можно, а сегодня нет. Правила были, но жили они отдельно от слов.

Ребёнок в таком доме учится читать не текст, а погоду. Я вырос хорошим синоптиком и плохим собеседником: я угадывал настроение с полувзгляда и не умел сказать, чего хочу сам.

Чужая чашка

Я нахожу свою чашку на нижней полке, хотя она всегда стояла на верхней, и чувствую раздражение, которое не соответствует поводу. Чашка цела, полка чистая, никто ничего не испортил. Я говорю об этом вслух, и слышу собственный голос: он раздражён сильнее, чем позволяет чашка. Человек пожимает плечами и говорит, что не знал. И это «не знал» оказывается важнее самой чашки.

Я злюсь не на чашку, а на нарушенное правило, о котором никогда никому не сообщал. У меня в голове оно существовало годами, как существует планировка квартиры: верхняя полка для чашек, нижняя для тарелок. Я был уверен, что это очевидно, потому что для меня это было очевидно все-

гда. Очевидность собственных привычек обманывает сильнее всего: она не даёт заметить, что привычка моя, а не общая.

Для человека, который пришёл в этот дом три года назад, полки были просто полками, а чашки просто чашками. Он расставил их так, как удобнее ему, и был по-своему прав. Правила не было нигде записано, и потому нарушить его он не мог. Он не спорил со мной, он просто не знал, что здесь есть с чем спорить.

Я весь вечер прокручиваю этот разговор и постепенно понимаю, что дело не в чашке и даже не в полке. Дело в том, что я тридцать лет живу среди правил, которых никому не называл, и потом обижаюсь, когда их не соблюдают. Это не про чашку, это про способ, которым я устроил свою жизнь. И способ этот до сих пор казался мне единственно правильным.

Самое неприятное открытие случилось позже, когда я стал считать. За неделю я насчитал больше двадцати таких правил: как ставить обувь, когда можно звонить, что не обсуждают за столом, сколько времени собираются в дорогу. Ни одного из них я не произносил вслух. И на каждое в какой-то момент обижался, а некоторые из них держал в голове годами. Оказалось, что я живу в доме, где действует устав, известный одному человеку. Этот человек я, и я же назначаю наказания: молчание, холод, обиду на два дня. Со стороны это выглядит как характер, а изнутри это административная

работа, которой я не выбирал, но которую исправно делаю каждый день.

У матери была своя версия этого языка, и она стоила дороже всех. Она могла десять лет ждать, что её поймут, и не сказать ни слова о том, чего хочет. На прямой вопрос она отвечала с недоумением: неужели непонятно. Видно было только ей, и это «видно» она считала достаточным основанием для обиды.

Я долго думал, что так поступают только у нас. Потом увидел то же самое в других домах, у людей совсем не похожих. Одна знакомая двадцать лет обижалась на мужа за то, что он не дарит цветы, и ни разу не сказала, что ей этого хочется. Она считала, что просить цветы унизительно, а он считал, что если бы хотела, сказала бы.

Догадаться без слов

У нас не договаривались, а чувствовали. Считалось, что близкий человек должен понимать без слов, а если не понимает, значит, он недостаточно близкий. Это была не жестокость, а язык, на котором говорили все вокруг. Другого языка я не знал и не подозревал, что он существует.

Я вырос с мыслью, что просить объяснить правило унизительно. Если любишь, ты и так знаешь, а если спрашиваешь, значит, тебе всё равно. Поэтому я не спрашивал и не объяснял: я ждал, что догадаются. И обижался, когда не догадывались, причём обижался тем сильнее, чем ближе был человек.

В восемнадцать я впервые попал в дом, где говорили ина-

че. Там за ужином кто-то сказал: у нас не принято обсуждать работу за едой. Сказал спокойно, между делом, и все кивнули, и никто не обиделся. Я тогда удивился не правилу, а тому, что его произнесли вслух и ничего не случилось. Ни ссоры, ни обиды, ни двух дней молчания.

Эта сцена осталась со мной, потому что противоречила всему, что я знал. Я думал, что назвать правило значит устроить скандал. А оказалось, что правило, названное заранее, экономит скандал, который иначе случится через год из-за чашки. Разница только в том, когда платить: сейчас, за минуту разговора, или потом, за целый вечер.

Дома я потом пытался так же, и первое время выходило неуклюже. Я объявлял правила тоном, которым объявляют приговор, и люди напрягались. Пришлось учиться говорить об этом как о погоде: спокойно, коротко, без драмы. Это оказалось труднее, чем я думал, потому что за моим тоном стояла привычка обвинять.

Самое странное, что близкие восприняли это легче, чем я ожидал. Человек, которому называют правило, обычно испытывает облегчение: ему больше не надо угадывать. Угадывание утомляет обоих, только один это замечает, а второй думает, что так и должно быть. Человек, живущий в чужом уставе, постепенно начинает чувствовать себя неуютно, но не может объяснить почему. Он не знает, что нарушает, и потому не может исправиться. Он просто замечает, что в доме становится прохладно, и относится это к себе, к своей

неуместности, к тому, что он, наверное, не создан для семьи.

Дети выучивают эти правила быстрее всех, потому что у них нет выбора. Ребёнок, который вырос в доме с необъявленным уставом, потом всю жизнь входит в чужие комнаты на цыпочках. Он ищет правила, которых никто не называет, и угадывает их с поразительной точностью, потому что тренировался с детства.

Устав без объявления

Необъявленное правило нельзя нарушить осознанно. Человек живёт в чужом уставе, о котором ему не сообщили, и удивляется, когда получает счёт. Он не знал, что здесь так принято, потому что здесь об этом не говорили. И когда ему предъявляют претензию, он честно не понимает, за что.

Из этого следует неприятная вещь: в большинстве случаев нарушитель не виноват. Он не пренебрегал, не проверял, не издевался. Он просто поставил чашку туда, где было место. А виноват тот, кто держал правило в голове и молчал, то есть я.

Я долго не мог с этим согласиться, потому что мне хотелось виноватого. Пока есть виноватый, есть и право на обиду, а обида даёт ощущение правоты. Признать, что виноватых нет, значило остаться без правоты, и это было неприятнее всего. Я соглашался с логикой и всё равно продолжал искать виноватого.

Есть и другая сторона, о которой не принято говорить: правила без слов удобны тому, кто их держит. Их можно ме-

нять, не объясняясь, и толковать в свою пользу. Пока правило не названо, его нельзя оспорить, а значит, нельзя и отказаться его выполнять. Это тихая власть, и я пользовался ею годами, не замечая.

Поэтому объявление правила это ещё и отказ от власти. Названное правило можно обсудить, можно не согласиться, можно предложить другое. Всё это я теряю, когда молчу. Но взамен получаю дом, в котором не надо угадывать, и человека, который не обязан читать мои мысли.

Я заметил, что люди, живущие с названными правилами, выглядят спокойнее. Они реже взрываются из-за мелочей и меньше обижаются. Не потому, что у них лучше характеры, а потому, что у них меньше тайного. Тайное всегда тяжелее, даже если это всего лишь полка для чашек.

С гостями это видно лучше всего. Гость не знает домашних правил, и потому ведёт себя как человек из другого мира: садится не туда, говорит не о том, ест не так. Хозяева при этом улыбаются и терпят, а потом обсуждают его на кухне. Это и есть проверка: если правило нельзя предъявить гостю, значит, оно домашнее, и его надо было назвать. Когда люди начинают жить вместе, у них сталкиваются два устава, и первый год уходит на то, чтобы их согласовать. У кого-то это происходит через разговоры, у кого-то через ссоры, а чаще всего через молчаливое подчинение одного. Тот, кто уступает, потом говорит, что «притёрлись», хотя на самом деле один просто перестал ставить чашки на свою полку.

Общие правила

Есть правила, которые не нужно объявлять: не бить, не унижать, не брать чужое. Они общие, они старше любого дома, и напоминать о них унизительно для обоих. Если человек этого не понимает, дело не в незнании, а в другом, и разговор должен быть другим. Разница между общими и домашними правилами в том, кто их устанавливает. Общие не устанавливает никто, они просто есть, как есть закон тяготения. Домашние устанавливают люди, и потому они разные в каждом доме: у одних не входят в комнату без стука, у других это норма. И то и другое может быть хорошо, если об этом знают.

Ошибка начинается там, где домашнее правило принимают за общее. Я был уверен, что не есть в комнате это норма для всех, и обижался на человека, который вырос в доме, где ели где хотели. Ни один из нас не был неправ, но один считал своё частное мнение всеобщим законом. Это самая частая форма домашней тирании, и она не требует злого умысла.

Хуже, когда за домашнее правило принимают своё удобство. Тогда правило звучит благородно, а служит одному человеку. Например, в доме «не шуметь после десяти» может означать заботу о сне, а может означать, что один любит тишину, а второй не имеет права на звук. Снаружи это одно и то же правило, изнутри две разные вещи.

Отличить одно от другого можно по простому вопросу: если правило перевернуть, кому станет хуже. Если мне, а другому всё равно, значит, это моё удобство, и его стоит на-

зывать своим, а не общим. Названное своим, оно перестаёт быть законом и становится просьбой, а просьбу можно обсудить. С общими правилами всё проще и хуже одновременно. Проще, потому что их не надо объяснять. Хуже, потому что их нарушение нельзя простить незнанием, и тогда разговор идёт не о привычке, а о том, что человек позволяет себе по отношению к другому.

Иногда правило приходится повторять, и это не признак неудачи. Человек может согласиться и через неделю забыть, потому что привычка сильнее договорённости. Второй раз надо говорить то же самое, теми же словами, не добавляя упрёка. Третий раз тоже, если понадобится.

Самое трудное — не перепутать объявление правила с его защитой. Объявить значит сообщить, как я живу. Защищать значит добиваться, чтобы жили по-моему. Первое оставляет человеку свободу, второе её отнимает, и разница видна по тому, что происходит после отказа.

Объявить правило

Приём короткий, и в нём три шага. Первый: назвать правило вслух, коротко и без объяснений. Не «ты вечно ставишь чашки не туда», а «у меня есть правило: чашки на верхней полке». Одно предложение, в котором нет ни обвинения, ни истории, ни намёка на вину.

Второй: сказать, откуда оно взялось. Не для оправдания, а чтобы человек понял, что это не каприз. «Так было у нас дома, и мне так спокойнее» звучит понятнее, чем «мне так нра-

вится». Происхождение правила делает его человеческим, а не административным, и человеку легче его принять.

Третий: спросить, как удобно другому. Это не уступка, а проверка: может быть, у него тоже есть правило про чашки, и оно другое. Тогда появляется то, чего не было, — разговор о том, как жить вдвоём, а не о том, кто прав. В этом разговоре у обоих есть по правилу, и ни одно не главнее. Узнать, сработало ли, можно по простому признаку: может ли человек повторить правило своими словами. Если может, оно перестало быть тайным и стало общим. Если путается или помнит только запрет, значит, я сказал не правило, а претензию, и разговор надо начинать заново.

Бывает, что правило не нравится и человек его не принимает. Это нормально и даже полезно: значит, оно было не общим, а моим, и теперь это видно. С моим правилом можно жить рядом, его можно учитывать, но его нельзя вменить. Вменить можно только то, о чём договорились двое, а до этого это просьба.

И последнее: правило лучше объявлять до того, как оно нарушено. Сказанное после нарушения звучит как упрёк, даже если произнесено спокойно. Сказанное заранее звучит как сведения о доме, и люди принимают сведения совсем не так, как упрёки. Есть правила, которые я до сих пор не назвал, и я знаю про них. Например, я не люблю, когда меня переспрашивают дважды об одном и том же, и до сих пор молчу, а потом раздражаюсь. Это остаток той самой привыч-

ки: мне кажется, что такое объяснять неловко, потому что это про меня, а не про дом.

Через год я спросил, стало ли легче. Человек подумал и сказал, что стало понятнее, но не сразу: первые месяцы было ощущение, что мы всё время что-то обсуждаем. Зато теперь, сказал он, когда я молчу, это уже не значит, что я обиделся. Это значит, что я просто молчу.

Правило вслух

Теперь я стараюсь называть правила раньше, чем они нарушатся, и это экономит много вечеров. «У меня есть правило: после десяти не звоню и не беру». «У нас дома не обсуждают деньги за столом». «Я не читаю чужие переписки, и свою не показываю». Три фразы, и в доме стало меньше догадок.

Сначала мне казалось, что я усложняю жизнь. Разве нельзя просто чувствовать друг друга. Можно, но чувство работает, пока совпадает, а правила работают и тогда, когда не совпадает. И как раз в несовпадении они и нужны, потому что в совпадении никакие правила не требуются. Человек, который знает правила, перестаёт быть гостем в собственном доме. Он знает, где чашки, когда звонить и о чём не шутить, и это не ограничение, а карта. По карте ходить проще, чем по местности, которую каждый раз надо угадывать заново, рискуя ошибиться.

Через год я заметил, что чашка перестала быть событием. Она стоит там, где её поставили, и я не проверяю пол-

ку, потому что правило больше не держится на моём молчании. Оказалось, что обида была не про чашку, а про то, что я один знал закон, по которому жил дом, и никому его не показывал. Но объявить правило мало, если я жду, пока станет невыносимо.

Раньше, чем поздно

Самые большие ссоры в моей жизни начинались с мелочей. С пакета, оставленного на столе, с незакрытой двери, с чашки не в той раковине. Каждая мелочь была пустяком, и именно поэтому я их пропускал, а через год обнаруживал, что мы ссоримся уже не из-за пакета.

Граница, о которой не сказали вовремя, стоит дороже всего. Она не исчезает от молчания, она только набирает вес, и в какой-то момент её уже нельзя назвать спокойно, потому что за ней стоит год.

Взрыв из-за мелочи

Я взрываюсь из-за того, что кто-то не закрыл пакет с хлебом, и слышу, как это звучит со стороны. Хлеб чёрствеет, мир не рушится, а я стою на кухне и говорю таким голосом, что человек отступает к двери. Он не понимает, что произошло, и я тоже не понимаю, потому что пакет действительно был не закрыт. Дальше я весь вечер прокручиваю этот момент и постепенно вспоминаю остальное. За месяц до этого было ещё пять таких мелочей: опоздание на двадцать минут, разговор при гостях, обещание, которое не выполнили, шум в семь утра. Каждый раз я молчал, потому что каждая вещь по отдельности была слишком мелкой для скандала. А вместе они оказались достаточными для пакета с хлебом.

Я замечаю за собой странную арифметику. Одна мелочь

равна нулю, потому что из-за неё ссориться неприлично. Пять мелочей равны нулю по той же причине. А тридцать мелочей равны взрыву, и виноватым оказывается тот, кто не закрыл пакет, хотя он всего лишь оказался последним в очереди.

Человек, который стоит у двери, не знает ни про двадцать минут, ни про гостей, ни про шум. Для него вечер начался с хлеба и закончился скандалом, и в его версии я неврастеник. В моей версии я терпел месяц и наконец сказал. Обе версии правдивы, и это самое неприятное.

Я тогда впервые подумал, что проблема не в мелочах и не в характере. Проблема в том, что я называю неудобство только тогда, когда оно становится невыносимым, а к этому моменту говорить уже поздно. Не потому, что человек не услышит, а потому, что говорю я уже не словами, а криком. С этого вечера я начал замечать, как устроено моё терпение. Оно оказалось не добродетелью, а отложенным платежом, и проценты по нему я платил чужому человеку, который ничего не брал в долг. Он просто жил рядом и не знал, что я веду счёт.

Была и другая линия, по которой я это получил. Отец не терпел, он уходил: собирался и уезжал на два дня к родне, и это было его способом не говорить. Я вырос между двумя моделями, молчаливой и отсутствующей, и обе означали одно: о неудобном не сообщают, его пережидают.

Я долго считал это своей сильной стороной. «Я терпели-

вый» звучало как похвала, и я ею пользовался: в спорах, в работе, в отношениях. Только в сорок я заметил, что терпение — это не свойство, а способ ничего не решать, и что оно всегда заканчивается чужим счётом.

Дом, где терпели

В моей семье терпели. Считалось хорошим тоном не замечать неудобства, а если заметил, то молчать, потому что взрослые люди не считаются по мелочам. Это подавалось как сила: мы не ссоримся из-за ерунды, мы выше этого. На самом деле мы просто не умели говорить, и терпение было единственным доступным способом.

Я помню, как мать весь вечер молчала после того, как отец что-то сказал при гостях. Она не сказала, что ей неприятно, она просто убрала со стола громче обычного. Я тогда не понял, но запомнил: если человек громко ставит тарелки, значит, что-то случилось. Через двадцать лет я узнал, что случилось, и это была фраза, сказанная один раз.

Терпение в моём доме считалось добродетелью, хотя по сути было способом ничего не решать. Тот, кто терпел дольше, считался лучше. Бабушка терпела сорок лет и была почти святой. Её жизнь была примером, и никто не спрашивал, чего ей это стоило, потому что вопрос был неприличным. Святость не обсуждают.

Я вырос с мыслью, что говорить о неудобстве значит жаловаться, а жаловаться стыдно. Жалоба предполагает, что кто-то должен что-то исправить, и тем самым я перекладываю на

него тяжесть. Проще было терпеть и потом взрываться, потому что взрыв хотя бы не требует разговора о том, чего я хочу. Самое коварное в этом наследстве то, что оно выглядит как любовь. Человек, который терпит, кажется заботливым: он не хочет расстраивать, не хочет ссориться, не хочет обременять. Я много лет считал своё молчание подарком, который делаю другим. А они получали не подарок, а счёт, который предъявлялся через год и без объяснений.

Только в тридцать я узнал, что бывает иначе. В одной семье я видел, как женщина сказала мужу: мне не нравится, когда ты так шутишь при детях. Сказала спокойно, за ужином, и он кивнул и больше так не шутил. Никто не умер, никто не терпел десять лет. Я смотрел на это как на чудо, хотя это была обычная бытовая техника.

С тех пор я стал различать две вещи, которые раньше сливались. Терпение это когда я решил не говорить и знаю, почему. Откладывание это когда я не решил ничего, а просто не сказал. Первое бывает разумным, второе всегда кончается пакетом с хлебом. Я попробовал однажды посчитать, сколько раз за месяц промолчал, и сбился на второй неделе. Молчание не имеет счётчика, потому что каждый раз кажется, что это не решение, а просто пауза. Но пауза, повторённая тридцать раз, становится порядком, и этот порядок кто-то оплачивает.

Счёт с процентами

Терпение не бесплатно. Оно копится, и вместе с ним ко-

пится обида, а обида имеет свойство расти быстрее, чем повод. Через месяц мелочь стоит уже не мелочи, а целого вечера, и человек, который её совершил, платит за всё, чего он не делал. Разница между первым разом и десятым не в силе чувства, а в цене разговора. На первом разе это просьба: мне неудобно, давай поправим. На десятом это счёт: ты всегда так делаешь, я устал, я больше не могу. Просьбу можно выполнить, счёт можно только оплатить, и обычно платят ссорой.

Я замечал, что моё терпение имеет срок, о котором я не знаю. Я не решаю терпеть месяц; я просто терплю, пока хватает. А хватает по-разному: иногда неделю, иногда год, в зависимости от усталости, работы, погоды. И человек, живущий рядом, никогда не знает, где проходит эта граница, потому что она проходит внутри меня.

Хуже того, срок сокращается. Чем больше накопилось, тем меньше нужно, чтобы прорвало. Сначала меня раздражал шум в семь утра, потом стало раздражать, что человек вообще встаёт раньше меня. Это не он изменился, это счёт вырос, и теперь проценты платит он.

Есть и обратная сторона, о которой я узнал от других. Тот, кто терпит, часто считает себя добрым, а того, кто рядом, считает неблагодарным. «Я столько для него терплю» звучит как заслуга, хотя терпение без слов не заслуга, а неоплаченный кредит. Человек не просил его выдавать.

Самый неприятный эффект счёта в том, что он делает че-

ловека виноватым за то, чего он не делал. Он закрыл пакет неплотно, а расплачивается за месяц. Он не может исправить прошлое, потому что о прошлом ему не говорили, и не может защититься, потому что не знает, в чём обвинение.

Взрыв кажется выходом, потому что после него становится легче. Легче на день, на два, иногда на неделю. А потом счёт начинается заново, только теперь с процентами: человек ходит осторожно, я злюсь на его осторожность, и через месяц всё повторяется. Так проходит жизнь, в которой никто не говорит, а все всё чувствуют.

Есть и особый случай: когда человек не может изменить то, о чём идёт речь. Если он храпит, если у него тяжёлый характер, если он не умеет быть пунктуальным в силу устройства, разговор об ограничении превращается в разговор о том, какой он. Здесь ждать бессмысленно, но и говорить бессмысленно: остаётся решать, могу ли я с этим жить.

Однажды я всё-таки сказал в неподходящий момент и потом полгода жалел. Человек был вымотан, я был вымотан, и разговор превратился в обмен ударами, после которого мы неделю не могли смотреть друг на друга. С тех пор я проверяю две вещи: повторяется ли и есть ли у нас обоих силы.

Когда стоит подождать

Иногда стоит подождать, и делать вид, что всегда надо говорить немедленно, было бы неправдой. Разовый случай, чужая усталость, день, когда человек не в форме, — всё это не повод для разговора о правилах. Если сказать в такой мо-

мент, получится не граница, а удар по человеку, который и так еле держится. Я научился различать две ситуации по простому признаку: повторяется или нет. Если это случилось впервые и, скорее всего, не повторится, говорить не о чем. Если я знаю, что будет ещё раз, потому что так уже было, то ждать бессмысленно: второй раз будет таким же, и третий тоже.

Второй признак: могу ли я выдержать ещё один раз без ущерба. Если могу, можно подождать до спокойного дня и сказать тогда. Если не могу, если внутри уже закипает, то ждать нельзя, потому что следующая мелочь станет поводом для ссоры, а не для разговора. Есть и третий случай, когда ждать нужно обязательно: когда человек не в состоянии слушать. В горе, в болезни, в аврале, после тяжёлого дня — в такие моменты любая граница воспринимается как удар. Я один раз сказал важное человеку, который только что вернулся с похорон, и до сих пор помню его лицо.

Но и отсрочка имеет срок, иначе она превращается в то самое откладывание. Если я решил подождать, я называю себе день, когда скажу, и говорю в этот день. Без срока отсрочка становится молчанием, а молчание возвращает нас к счёту с процентами.

Отличить здоровое терпение от нездорового можно по одному вопросу: знаю ли я, когда скажу. Если знаю, это решение. Если не знаю, это надежда, что само рассосётся, а само не рассасывается почти никогда. Оно заканчивается пакетом

с хлебом и человеком у двери.

Иногда первый шаг важнее двух остальных. Заметить неудобство в момент, когда оно ещё не стало обидой, — это отдельный навык, и он тренируется. Я начал с простого: раз в день спрашивал себя, где мне сегодня было неуютно. Через неделю список стал длиннее, чем я ожидал.

Есть и ещё одно следствие, о котором я узнал не сразу. Когда я говорю о мелочах, крупные разговоры становятся легче. Не потому, что я стал смелее, а потому, что между нами уже есть язык, на котором можно говорить о неудобном без катастрофы. Язык тренируется на пакете с хлебом.

Успеть до счёта

Приём простой, и в нём три шага. Первый: заметить первое неудобство, пока оно ещё маленькое. Не подавить, не объяснить себе, что это ерунда, а заметить и назвать про себя: вот здесь мне неудобно. Это труднее, чем кажется, потому что привычка говорит «не выдумывай».

Второй: сказать об этом сразу или в тот же день, коротко и без истории. «Мне неудобно, когда пакет остаётся открытым» вместо «ты вечно всё бросаешь». Первое можно услышать, второе можно только оспорить, потому что оно про человека, а не про пакет.

Третий: не ждать третьего раза. Если я сказал и человек забыл, я говорю второй раз теми же словами. Если забыл и второй, говорю третий, и это не унижение, а точность. Граница, названная три раза подряд, воспринимается как пра-

вило, а не как настроение.

Понять, успел ли я, легко: было ли мне больно в момент разговора. Если нет, если это было просто неудобно, значит, я успел. Если больно, значит, я опоздал и говорю уже не просьбу, а счёт, и разговор пойдёт не туда. Есть и признак с другой стороны: удивился ли человек. Если удивился, значит, для него это новость, и он не знал, что мне неудобно. Если не удивился, значит, он давно знал и ждал, когда я скажу, — и тогда вопрос не в нём, а в том, почему я молчал так долго.

Бывает, что момент уже упущен и разговор неизбежно будет счётом. Тогда честнее назвать это вслух: я долго молчал, поэтому говорю сейчас резко, и это моя вина, а не твоя. Такое признание снимает половину напряжения, потому что человек перестаёт защищаться и начинает слушать. Через полгода я поймал себя на том, что говорю об этом всё реже. Не потому, что стало не о чем, а потому, что правила уже установлены и работают без моего участия. Мелочи остались, но они перестали быть событиями, а стали частью фона, на который никто не реагирует.

Мне нравится, как это выглядит со стороны. Никакой драмы, никаких выяснений до утра: две фразы на кухне, кивок, и вечер идёт дальше. Люди, которые живут так годами, кажутся скучными, а на самом деле они просто не тратят силы на то, что можно решить за минуту.

Назвать, пока мелочь

Теперь я стараюсь говорить в тот же день, и это экономит мне вечера. «Мне это неудобно. Говорю сейчас, пока это мелочь». Одна фраза, и в ней сразу два сообщения: мне неприятно, и я не собираюсь копить. Люди реагируют на неё спокойнее, чем на всё, что я говорил раньше.

Сначала было неловко. Казалось, что я придираюсь, что из-за такой ерунды разговор устраивать смешно, что человек подумает, будто мне нечем заняться. Через месяц неловкость прошла, а вместе с ней ушла часть обид, которые раньше копились и выходили целым. Я заметил, что после таких коротких разговоров человек начинает сам замечать мелочи. Не потому, что я его воспитываю, а потому, что теперь он знает, где проходит черта. Раньше он жил в темноте и натыкался на меня случайно, а теперь у него есть карта, и натыкаться стало не на что.

Взрывов стало меньше, но не исчезли совсем. Иногда я всё равно опаздываю, потому что устал или не заметил. Тогда я говорю об этом прямо: я опоздал, поэтому сейчас злюсь сильнее, чем стоит. Это не оправдание, а объяснение, и оно работает лучше молчания.

Самое трудное было привыкнуть, что мелочь заслуживает разговора. В моей системе ценностей разговор полагался только большому, а большое случалось редко, поэтому и разговоров почти не было. Оказалось, что жизнь состоит из мелочей, и именно они определяют, как в доме дышится. Но пока я следил за своей границей, я не видел чужой.

Чужая территория

В комнату сына я вхожу без стука, потому что он мой сын и потому что мне так проще. Однажды он сказал: не входи, я переодеваюсь. Я удивился и обиделся, и только потом сообразил, что он прав, а я нет.

Свою территорию я стерегу тщательно: не люблю, когда входят без стука, не люблю вопросов раньше первой чашки. Про чужую я не думал ни разу, и в этом не было злого умысла, только привычка считать, что моё время моё, а его общее.

Звонок в семь

Я звоню матери каждое утро в семь, потому что мне так удобно: я встаю раньше всех, у меня есть десять минут, и я успеваю узнать, как она. Она берёт трубку всегда, отвечает коротко и через три минуты говорит, что ей надо идти. Я вешаю трубку и чувствую лёгкую обиду: я же звоню из заботы. Однажды она не берёт. Я звоню ещё раз, потом ещё, и на четвёртый слышу сонный голос: я спала. И в этом «я спала» нет упрёка, только факт, от которого мне становится неловко. Я три года звонил в семь утра и ни разу не спросил, удобно ли ей.

Я думал, что забота не спрашивает разрешения. Что если человеку звонят, значит, о нём думают, и это приятно по определению. Мне и в голову не приходило, что забота может быть неудобной, а тем более что моя забота может быть

формой вторжения.

Потом я стал замечать то же самое в других местах. Я захожу в комнату без стука, потому что мы свои. Я читаю сообщение через плечо, потому что мне интересно. Я спрашиваю про зарплату, про врача, про отношения, потому что мне не всё равно. Каждый раз это выглядит как близость, и каждый раз человек на секунду напрягается.

Напряжение я замечал, но объяснял его неправильно. Мне казалось, что человек закрывается от меня лично, что я чем-то не нравлюсь, и я начинал вести себя ещё теплее. Чем теплее я вёл себя, тем сильнее он закрывался, и круг замыкался. Только после разговора, в котором мне сказали «ты всё время рядом», я понял, что «рядом» может быть не комплиментом. Я всю жизнь считал, что близость измеряется количеством: сколько раз позвонил, сколько знаешь, сколько позволил себе. А оказалось, что у неё есть ещё и качество, и оно про то, оставляешь ли ты человеку место.

С тех пор я начал спрашивать. Не в смысле «можно?», а в смысле «как тебе удобно». Это оказалось простым вопросом, на который у людей есть ответ, и ответ этот почти всегда отличается от того, что я придумал бы сам. Я долго не мог объяснить, почему меня это задело. Стук ведь ничего не отнимает, он только добавляет секунду ожидания. Наверное, дело было в том, что стук признавал существование чего-то, о чём я не знал: чужой комнаты, чужого времени, чужой жизни внутри общей квартиры.

Стук в дверь

Я вырос в квартире, где стучать было не принято. Комната была общая, дверь закрывалась редко, и войти мог любой в любой момент. Считалось, что если ты закрываешься, значит, тебе есть что скрывать, а скрывать в семье нечего. Я не помню, чтобы это меня травмировало. Мне не казалось, что меня лишают чего-то важного, потому что я не знал, что такое бывает. Я просто привык, что моё время не принадлежит мне целиком, и научился делать уроки в любой обстановке, при любом шуме, в любую минуту.

Потом я попал в дом, где стучали. Мне было девятнадцать, я гостил у приятеля, и его мать постучала в дверь его комнаты, прежде чем войти. Я тогда удивился настолько, что запомнил это на двадцать лет. Мне показалось, что это холодно, что между своими так не делают.

Прошло много времени, прежде чем я понял, что стук это не холод, а уважение. Он говорит: я знаю, что за дверью твоя жизнь, и я не вхожу в неё без приглашения. Это не отдаление, это признание, что у человека есть место, куда он может не пускать даже близких. В моей семье этого места не было ни у кого. Не потому, что родители были жестокими, а потому, что у них самих его не было: они выросли в комнатах, где жили по пять человек, и понятие личной территории было для них абстракцией. Они передали мне то, что имели.

Я перенёс это дальше, не заметив. Я входил без стука к жене, к друзьям, к ребёнку, и каждый раз был уверен, что про-

являю близость. Иногда мне говорили «подожди», и я слышал в этом отказ от меня, а не просьбу о двери. Теперь я стучу. Не потому, что стал формалистом, а потому, что заметил разницу: после стука человек открывает сам, и это уже приглашение. Войти в приглашённую дверь приятнее, чем в незапертую, хотя звучит это странно.

Со стороны это выглядит как характер. Человек становится сухим, и окружающие решают, что он обиделся или устал. Никому не приходит в голову, что он просто охраняет место, в которое слишком часто входят. Я сам так выглядел годами и удивлялся, почему меня считают замкнутым.

Я завёл привычку замечать момент, когда человек становится короче. Раньше я в этот момент подходил ближе, теперь отхожу. Это кажется противоречием заботе, но на деле только так и можно узнать, чего человек хочет: подождать, пока он сам решит открыться.

Защита как холод

Чужая граница не видна, пока человек не начнёт защищаться. А защита выглядит как холод: короткие ответы, закрытая дверь, молчание, отказ от разговора. Я читал это как обиду и шёл выяснять, чем усугублял. Логика у меня была простая: если человек отдаляется, значит, что-то случилось, и надо это выяснить. Я задавал вопросы, требовал объяснений, предлагал поговорить, и каждый мой шаг был ещё одним входом без стука. Чем настойчивее я выяснял, тем плотнее закрывалась дверь.

Однажды я услышал фразу, которая всё перевернула: «Мне нужно, чтобы ты перестал спрашивать, как я». Я тогда обиделся, потому что спрашивать как ты это же забота. А человек объяснил: каждый мой вопрос требует ответа, и он двадцать раз в день тратит силы на то, чтобы сообщить, как он. Вот это «требует ответа» я не учитывал. Любой мой вопрос о состоянии другого человека был требованием отчёта, пусть и мягким. А отчёт требует сил, и если человек устал, он защищается единственным доступным способом: становится коротким.

С тех пор я различаю два вида молчания. Одно обидчивое: человек молчит, чтобы я заметил и пришёл. Другое охранительное: человек молчит, потому что ему нужно место, и он не ждёт, что я приду. Внешне они похожи, но реакция нужна разная, и я долго путал их, предлагая утешение там, где просили тишины.

Отличить их можно по одной вещи: обидчивое молчание заканчивается, когда я подхожу. Охранительное — только когда я отхожу. Если после моего приближения человек закрывается сильнее, значит, я не туда. Есть простой способ увидеть карту: спросить, что человек делает, когда остаётся один. Ответ показывает, какая территория у него есть и нужна ли она ему вообще. Одному нужно два часа тишины, другому достаточно закрытой двери в ванную, и оба варианта нормальны, если о них знают.

Я заметил, что в семьях, где карту обсуждали, ссор мень-

ше не потому, что люди добрее, а потому, что меньше случайных вторжений. Каждое вторжение стоит нервов, даже если оно мелкое, а за день их набирается десяток. Десяток мелких стоит одного крупного скандала. Есть ещё одна территория, о которой забывают: время. У каждого есть часы, которые принадлежат только ему, и они не всегда совпадают с общим расписанием. У одному это утро до работы, у другого вечер после десяти, и вторжение в эти часы переживается сильнее, чем вторжение в комнату.

Общая территория всегда требует договора, даже если договор молчаливый. Пока его не было, каждый ходил по своей карте и считал чужую ошибку вторжением. Договор не делает людей ближе, он делает их предсказуемыми, а предсказуемость в быту стоит дороже нежности.

Общие комнаты

Есть территории, куда вход открыт по умолчанию: общий дом, общие дела, общая беда. Там не спрашивают разрешения, потому что спрашивать было бы абсурдом: нельзя же стучать в собственную кухню. Но и там есть комнаты, куда стучат, и их не всегда видно.

Общий дом устроен сложнее, чем кажется. У каждого в нём есть свои часы, свои вещи, свои привычки, и всё это образует невидимую карту. На карте есть места общие: стол, коридор, разговоры о деньгах. И есть места личные: ящик, переписка, время после десяти. Проблема в том, что карту каждый рисует сам, и карты не совпадают.

Я замечал, что самые большие ссоры случаются не из-за крупного, а из-за границы, которую один считал общей. Например, телефон. Для одного это личная вещь, для другого просто телефон, который можно взять, чтобы посмотреть время. Один видит вторжение, другой видит обычное дело, и оба искренни.

В общей беде границы сдвигаются. Когда у человека горе, к нему можно войти без стука, потому что он не в состоянии стучать и открывать. Но и это не навсегда: через месяц горе становится бытом, а привычка входить остаётся, и тогда человек начинает защищаться от того, кто был рядом в трудный момент. С детьми это работает иначе, потому что их территория только формируется. Ребёнку нужно место, которое целиком его, и он проверяет, уважают ли его, по мелочам: постучали ли, спросили ли, не переставили ли без него. Если не уважают, он перестаёт считать своим всё, и тогда его не удержать.

С родителями сложнее всего. У них своя карта, нарисованная до меня, и на ней я до сих пор ребёнок, которому можно заглянуть в шкаф. Они не вторгаются, они заботятся, и объяснить им разницу почти невозможно, потому что для них разницы нет. Самое трудное в этом вопросе — выдержать ответ. Человек может сказать такое, что заденет, и захочется тут же объяснить, что он неправ. Если объяснить, он больше не ответит никогда, и я потеряю единственный способ узнать, где проходит его граница.

Я заметил, что люди отвечают на такой вопрос честнее, если я задаю его не в ссоре. В ссоре любой вопрос звучит как подготовка к обвинению, и человек отвечает не то, что думает, а то, что безопаснее. В спокойный день он говорит правду, потому что ему нечего защищать.

Карту можно рисовать и вдвоём, но для этого нужен лист и полчаса. Мы один раз сели и выписали, кто что считает своим: часы, вещи, темы, людей. Список вышел коротким и неожиданным: половину пунктов никто не угадал бы, а четверть оказалась общей. С тех пор мы знаем, где стучать, а где просто заходить.

Спросить о территории

Приём простой, и в нём три шага. Первый: спросить, что неудобно. Не «что тебе не нравится во мне», а конкретно: что тебе неудобно, но ты молчишь. Такой вопрос разрешает ответ, который человек давно держал при себе, и чаще всего он есть.

Второй: запомнить ответ и не спорить с ним. Это труднее, чем кажется, потому что первая реакция на чужое «мне неудобно» это объяснить, почему это ерунда. Спор с чужой границей означает, что я её не признал, и тогда весь разговор был напрасен.

Третий: проверить через месяц. Люди говорят о неудобном один раз и потом не возвращаются, а привычка сильнее памяти. Через месяц можно спросить, стало ли легче, и услышать правду, потому что к тому времени человек уже

знает, что я спрашиваю не для галочки. Судить о том, сработало ли, можно по одному: назвал ли человек хоть одно, чего я не знал. Если назвал, значит, я спросил вовремя, потому что это всё равно всплыло бы, только позже и в виде ссоры.

Бывает, что человек не может ответить сразу. Он привык не жаловаться, и вопрос застаёт его врасплох. Тогда полезно спросить второй раз через неделю и не обижаться на первое «всё нормально». Молчание в ответ на такой вопрос это тоже ответ, только его надо уметь подождать.

И последнее: спрашивать надо не только словами. Я смотрю, когда человек замолкает, когда уходит в другую комнату, когда отвечает короче обычного. Это и есть карта, нарисованная поведением, и она точнее любой декларации. Я думаю теперь, что уважение к чужой территории начинается с признания простой вещи: я не знаю, что человек чувствует, пока он не сказал. Всё остальное, что я думал о его удобстве, было моей фантазией, иногда доброй, иногда удобной мне самому.

Через год я спросил мать, удобно ли ей, что я звоню в семь. Она помолчала и сказала, что привыкла, но лучше в девять. Мы поменяли время, и разговоры стали длиннее, потому что ей больше не надо было спешить. Три года я звонил не тогда, когда ей хорошо, а тогда, когда было удобно мне.

Есть и цена у этого вопроса. Когда я спрашиваю, я обязан ответить тем же, а моя собственная карта оказалась почти пустой. Я годами жил без территории и считал это широтой

души, а на деле просто не знал, где заканчиваюсь. Пришлось рисовать заново, и это оказалось труднее, чем спрашивать других.

Хозяин границы

Теперь я стараюсь не угадывать чужие границы, а спрашивать о них. Оказалось, что люди почти всегда знают ответ, но редко получают вопрос. Они годами живут с ощущением, что их неудобство никому не интересно, и привыкают терпеть. Я заметил, что после такого вопроса отношения становятся не холоднее, а спокойнее. Человек перестаёт защищаться, потому что защищаться больше не от чего: его территорию признали, и ему не надо охранять её молчанием.

Со мной произошло то же самое с другой стороны. Когда у меня спросили, что мне неудобно, я сначала растерялся, а потом сказал такое, чего сам от себя не ожидал. Оказалось, что я тоже годами терпел и тоже считал, что спрашивать не о чем. Самое неожиданное открытие было в том, что граница это не про запреты другому. Она про то, где я заканчиваюсь и начинается человек рядом. Пока я этого не знаю, я либо растворяюсь, либо занимаю всё пространство, и оба варианта одинаково далеки от близости.

Я не сразу привык спрашивать. Первое время вопрос звучал как приём из книги, и люди это слышали. Пришлось повторять, пока он не стал обычным, как «как дела», только с настоящим интересом. И тогда оказалось, что граница вообще не про запреты другому.

Потом я спросил у нескольких человек, как у них с этим. Оказалось, что почти у всех есть кто-то, кто звонит не вовремя, и почти никто об этом не говорит. Люди объясняют такое характером, возрастом, любовью, чем угодно, кроме простой вещи: у звонящего не спросили.

Я, а не ты

Однажды я сказал человеку: не звони мне после десяти. Сказал твёрдо, потому что был уверен, что имею право, и потому что устал засыпать под телефон. Он кивнул, и через неделю я узнал, что весь вечер собирался с духом, чтобы успеть позвонить до десяти.

Я тогда не заметил, что моя фраза была не про меня, а про него. Я запретил, а не сообщил, а запрет требует власти, которой у меня не было, поэтому он и не сработал.

Звонок после десяти

Я говорю «перестань мне звонить после десяти», и слышу в ответ не согласие, а вопрос: а ты мне указываешь. Я действительно указывал, хотя мне казалось, что я просто прошу. Просьба и указание звучат по-разному, и разница не в вежливости, а в том, кто в этой фразе действует.

Разбираю по частям. «Перестань звонить» — это требование к другому. Оно предполагает, что у меня есть право распоряжаться его звонками, а такого права нет. Он взрослый человек и может звонить когда хочет, и никакого закона, который это запрещает, я не издавал.

«Я не беру трубку после десяти» — это сообщение о себе. Оно не требует от него ничего и не оценивает его поведение. Оно говорит только, что произойдёт, если он позвонит: я не отвечу, и это не обида, а расписание. Разница кажется сло-

весной, но она определяет, что произойдёт дальше. После первой фразы мы спорим о правах, и я проигрываю, потому что прав у меня нет. После второй спорить не о чем: я сообщил факт, и он может строить планы, зная этот факт.

Я замечал, что почти все мои границы были сформулированы как запреты. Не шуми, не опаздывай, не лезь, не спрашивай. Каждая из них требовала, чтобы другой изменил поведение, и каждая натыкалась на сопротивление, потому что человек не обязан меняться по моему распоряжению. Хуже того, запрет делал меня ответственным за исполнение. Если я сказал «не звони», а он позвонил, мне оставалось только злиться: сам я ничего сделать не мог. А если я говорю «я не беру», то исполнение в моих руках, и злиться не нужно.

Первое время новая формулировка казалась мне трусливой. Как будто я не запрещаю, а прячусь. Потом я понял, что это единственная форма, которую я действительно могу выполнить, и что выполнимое всегда сильнее желаемого. С тех пор я проверяю каждую фразу одним вопросом: могу ли я сделать это сам, без его согласия. Если могу, это граница. Если не могу, это просьба, и её надо произносить как просьбу, а не как закон.

Была и третья вещь, которую я заметил гораздо позже. Запрет не только не работает, он ещё и портит того, кто его произносит. Человек, привыкший запрещать, постепенно начинает считать, что мир должен подчиняться, и любое неподчинение переживает как личное оскорбление. Он становит-

ся обидчивым и требовательным, хотя начинал с желания, чтобы в доме было спокойно.

Мне понадобилось много лет, чтобы заметить разницу между «мне нельзя» и «я не хочу». Первое я слышал каждый день и выучил как погоду. Второе не звучало ни разу, и я до сих пор иногда ловлю себя на том, что не знаю, чего хочу, а знаю только, чего нельзя.

Дом запретов

Меня воспитывали запретами. Не бегай, не спорь, не выходи, не трогай, не перебивай. Запрет был единственной формой границы, которую я знал, и я вырос с мыслью, что так и устроены все отношения: один устанавливает правила, другой их выполняет. В моём доме запреты не обсуждались. Они объявлялись тоном, который не предполагал возражений, и нарушение каралось молчанием или криком. Я не помню, чтобы кто-то объяснял, зачем нужно правило; я помню только, что его надо было соблюдать.

Из этого вышло две вещи. Первая: я научился угадывать запреты, которые не произносили вслух, и делал это виртуозно. Вторая: я научился запрещать сам, потому что другого способа защищаться не видел. Когда я вырос, запреты перестали работать. Взрослые люди не обязаны меня слушаться, и мои «не смей» вызывали не страх, а раздражение. Я злился и считал их невоспитанными, хотя они просто не признавали за мной права распоряжаться.

Потребовалось много времени, чтобы понять простую

вещь: запрет это инструмент власти, а у меня нет власти ни над кем, кроме себя. Всё, что я могу, — распорядиться собой и сообщить об этом. Это меньше, чем мне хотелось, но это работает. Есть и другая сторона наследства: я плохо переношу чужие запреты. Мне достаточно намёка на «нельзя», чтобы внутри поднялось сопротивление, даже если запрет разумен. Так ведёт себя человек, которого долго ограничивали: он защищает не свободу, а право не слышать чужой голос.

С детьми запрет необходим, и это единственное место, где он уместен. Родитель отвечает за безопасность, и «нельзя» здесь не узурпация, а работа. Ребёнок ждёт, чтобы кто-то установил край, потому что без края ему тревожно. Но и с детьми запрет работает только вместе с объяснением и постоянством. Запрет, который меняется в зависимости от настроения взрослого, учит не правилу, а угадыванию. И тогда ребёнок вырастает таким же, как я: человеком, который ищет невидимые правила и боится их нарушить.

Есть простой способ проверить, есть ли у тебя власть: попробовать отказаться от неё. Если человек спокойно принимает, что ты больше не распоряжаешься, значит, власти не было и раньше, была только привычка. Если начинается паника или ярость, значит, на ней держалось больше, чем казалось, и тогда стоит подумать, что именно ты потеряешь. Я думаю, что взросление и есть отказ от воображаемой власти. Ребёнок распоряжается миром в фантазии, потому что реальностью не распоряжается никак. Взрослый обнаружива-

ет, что не распоряжается ничем, кроме себя, и это открытие неприятное, но освобождающее.

Власть, которой нет

Запрет требует власти над другим, а её нет ни у кого из взрослых. Мы можем влиять, просить, договариваться, угрожать последствиями, но распоряжаться чужим поведением не можем. Всё, что похоже на власть, держится на согласии или на зависимости.

Согласие бывает разным. Человек может согласиться из любви, из страха, из привычки, из нежелания ссориться. Пока согласие есть, запрет работает, и кажется, что власть настоящая. Но стоит согласию исчезнуть, и запрет превращается в пустое сотрясение воздуха.

Зависимость надёжнее, но и она не власть. Ребёнок зависит от родителя, подчинённый от начальника, больной от того, кто за ним ухаживает. Там запрет срабатывает, потому что на другой чаше весов лежит что-то важное. Но это не отношения, а устройство, и путать одно с другим опасно.

В близких отношениях зависимости почти нет, и потому запреты там не работают совсем. Мы равны, и любое «ты не должен» воспринимается как попытка установить неравенство. Именно поэтому семейные запреты вызывают такое сильное сопротивление: они покушаются не на поведение, а на равенство. Я замечал, что за запретом часто стоит бессилие. Человек не знает, как ещё повлиять, и переходит на приказ, потому что приказ хотя бы звучит твёрдо. Твёрдость

эта ложная: за ней ничего нет, кроме надежды, что другой испугается.

Отказ от запрета не означает отказа от влияния. Я могу сказать, что мне плохо, что я устал, что я не буду продолжать разговор. Это влияние, и оно сильнее приказа, потому что опирается на реальность, а не на воображаемое право. Я однажды запретил взрослому человеку садиться за руль и до сих пор считаю, что был прав. Он был пьян, за окном шёл снег, и никакие слова о его свободе не стоили того, чтобы он выехал. Но на следующее утро я первым делом сказал, что больше не распоряжаюсь: вчера была опасность, сегодня её нет, и решение снова его.

Дети проверяют запреты чаще, чем взрослые, и это нормально. Ребёнок проверяет не власть, а устойчивость мира: если сегодня нельзя, а вчера было можно, значит, края нет, и тогда тревожно. Постоянный запрет успокаивает сильнее, чем разрешение, хотя со стороны кажется наоборот.

Есть и промежуточная форма, которую я использую всё чаще: не запрет и не сообщение, а вопрос. «Ты можешь не звонить после десяти?» — это уже не распоряжение, а просьба, и у человека есть право сказать нет. Если он говорит да, граница становится общей; если нет, я возвращаюсь к своей части и просто не беру трубку. В обоих случаях никто никому не указывает.

Когда запрет нужен

Есть случаи, где запрет необходим, и делать вид, что все-

гда можно договориться, было бы неправдой. С ребёнком, который тянется к горячему, разговаривать некогда. С человеком, который уже перешёл границу насилия, обсуждать правила поздно. В таких случаях запрет короток и не предполагает обсуждения: нельзя, стой, не трогай. Он не воспитывает и не объясняет, он останавливает. Объяснение будет потом, когда опасность пройдёт и у обоих появятся силы слушать.

Есть и другая ситуация: запрет как временная мера, когда человек не в состоянии решать сам. Больной, пьяный, в остром горе, в панике. Здесь запрет заменяет человеку волю, которой у него сейчас нет, и это форма заботы, а не насилия. Но у временных запретов есть срок, и его надо называть. «Сейчас я не дам тебе сесть за руль» — это запрет на вечер. Если он превращается в правило на год, забота становится опекой, а опека унижает.

Отличить необходимый запрет от удобного можно по простому вопросу: что случится, если я не запрещу. Если случится беда, запрет нужен. Если случится неудобство для меня, это не запрет, а моё желание, и его надо называть своим. И последнее: запрет, произнесённый один раз в опасной ситуации, не даёт права запрещать всегда. Человек запоминает два разных чувства: что его остановили и что ему не доверяют. После опасности нужно вернуть ему руль, иначе он будет чувствовать себя ребёнком рядом с вами.

Есть ещё одна форма, которая работает почти всегда: на-

звать последствие вместо требования. «Если ты позвонишь после десяти, я не возьму» — это не угроза, а описание. Человек получает возможность выбрать, зная цену, и это единственное, что вообще можно дать другому в такой ситуации. Самое трудное в этой форме то, что она обязывает. Сказав «я не беру трубку», я обязан не брать, даже если очень хочется, даже если звонящий — тот, о ком я волнуюсь. Граница от себя держится на моей верности себе, а это тяжелее, чем требовать верности от другого.

Фраза от себя

Приём простой, и в нём три шага. Первый: переписать фразу от себя. Не «ты не должен», а «я не буду». Это меняет подлежащее, а вместе с ним и того, кто отвечает за исполнение.

Второй: убрать слово «ты». Если оно осталось, значит, фраза всё ещё про другого, и он это услышит. «Я не беру трубку после десяти» — чисто. «Я не хочу, чтобы ты звонил» — уже нет, здесь есть он.

Третий: проверить, могу ли я это выполнить сам. Если могу, это граница, и её можно объявлять. Если не могу, это просьба, и её надо произносить иначе: мне важно, я прошу, если тебе не трудно.

Проверить, сработало ли, можно по реакции. На границу человек реагирует вопросом или кивком. На запрет он реагирует защитой: начинает объяснять, почему имеет право. Если в ответ пошла защита, значит, я всё ещё запрещаю.

Бывает, что человек воспринимает границу как угрозу, даже если она сформулирована правильно. Тогда полезно добавить вторую часть: это не про тебя, это про то, как я устроен. Такая фраза снимает подозрение, что я пытаюсь его переделать. И ещё одно: граница, сформулированная от себя, звучит скромнее, и это сбивает. Кажется, что скромное не работает. На деле работает именно оно, потому что не требует от человека того, чего он не обязан давать.

Я заметил, что люди, у которых границы сформулированы от себя, кажутся спокойными. Они не спорят о правах, не доказывают, не обижаются. Они просто сообщают, как у них, и живут дальше. Со стороны это выглядит как уверенность, а на деле это экономия: они не тратят силы на то, чтобы переделать другого.

Через год я перечитал список своих прежних фраз и удивился, сколько там было «ты». Почти каждая начиналась с обвинения, даже если я считал её просьбой. Я не стал лучше, я просто перестал начинать с чужого имени, и разговоры сразу стали короче.

Отдельно стоит случай, когда границу приходится объявлять не словами, а действием. Сказать «я не буду» и продолжать делать — это не граница, а обещание, которое все видят насквозь. Работает только совпадение слова и поступка, и если они расходятся, люди верят поступку, а слова перестают значить что-либо.

Выполнить в одиночку

Теперь я почти всегда говорю от себя, и это изменило тон в доме. «Я не беру трубку после десяти». «Я не обсуждаю это за столом». «Я не даю денег в долг, но могу дать без возврата». Ни одного запрета, и при этом всё понятно.

Сначала мне казалось, что я теряю твёрдость. Запрет звучал уверенно, а сообщение о себе звучит как признание. Потом я заметил, что именно сообщение выполняется, а запрет остаётся словами. Твёрдость это не громкость, а способность сделать сказанное.

Человек, который слышит такую фразу, обычно не спорит. Ему нечего оспаривать: я не оценивал его, я описал себя. Он может огорчиться, может попробовать переубедить, но у него нет повода защищаться, потому что на него никто не нападал. Я заметил и побочный эффект: стало легче говорить о большем. Научившись формулировать мелкое, я смог сформулировать и то, что годами не мог произнести. Оказалось, что трудность была не в содержании, а в форме, и форма решала половину дела.

Однажды я сказал фразу, которую откладывал десять лет: я не буду жить в доме, где кричат. Сказал от себя, без «ты», и человек замолчал. Не потому, что испугался, а потому, что впервые услышал не претензию, а сообщение. Через неделю крика стало меньше, хотя никто ничего не обещал.

Я не думаю, что это универсальное средство. Есть люди, которые не слышат ничего, кроме силы, и с ними разговор другой. Но для тех, кто рядом по любви, а не по необходи-

мости, форма от себя работает почти всегда. И тогда стало видно, что именно граница защищает.

Я потом спросил его, как он услышал мою первую фразу. Он сказал: как приказ, и добавил, что приказов в его жизни хватает на работе. Тогда я впервые понял, что моя «просьба» встаёт в один ряд с чужими распоряжениями, и что человек защищается не от меня, а от всего сразу.

Что граница защищает

После одного разговора я не спал до утра. Мы говорили о мелочи, потом о другом, потом о том, что копилось годами, и к трём часам я понял, что обсуждаем мы не поступки, а счёт, который никто не вёл вслух.

Утром я думал не о том, кто был прав, а о том, что мы оба защищали. И постепенно понял: граница нужна не для того, чтобы отгородиться от человека, а для того, чтобы не дать накопиться тому, что потом выйдет одной большой ссорой.

Вечер после разговора

После первого разговора мне становится легче, и я весь вечер жду, что станет хуже. Мне кажется, что я что-то потерял: то ли право обижаться, то ли ощущение, что я хороший. Я хожу по квартире и прислушиваюсь к себе, как прислушиваются к больному зубу.

Человек ведёт себя обычно. Он не обиделся, не ушёл, не сказал ничего колкого, и это меня почему-то настораживает. Я жду подвоха, потому что в моём опыте после разговора о неудобном всегда наступало похолодание. А здесь ничего не наступило, и я не знаю, что с этим делать.

К ночи я понимаю, чего боюсь. Я боюсь, что граница — это первый шаг к разводу, к разрыву, к тому, что люди постепенно отдаляются и однажды обнаруживают, что им не о чем говорить. Я видел такие пары: вежливые, спокойные, и меж-

ду ними стена, которую никто не решается назвать. Утром я замечаю, что мы разговариваем больше, чем обычно. Не о границе, а вообще: про планы, про чью-то свадьбу, про то, что холодильник пора менять. Обычный разговор, каких давно не было, потому что раньше вечера уходили на напряжение, которое никто не называл.

Тогда я впервые подумал, что граница не отнимает, а освобождает место. Пока в комнате стояло невысказанное, оно занимало воздух, и говорить было нечем. Когда его назвали, освободилось пространство, и в нём оказалось возможно что-то другое.

Это не значит, что стало легко. Стало иначе: я больше не проверяю, можно ли сказать, и не взвешиваю каждое слово. Я говорю и смотрю, что будет, а не готовлюсь заранее к худшему. Оказалось, что это и есть та лёгкость, которую я искал в отношениях, только приходила она не от согласия, а от ясности.

Есть простой признак, по которому я различаю эти два состояния. В обороне я помню, кто что сказал и кто был прав. В хозяйстве я помню, что мы решили и как теперь живём. Первое копится в памяти как материал для будущего спора, второе просто работает.

Оборона ещё и делает человека одиноким, потому что в ней нет места союзнику. Если я всё время жду нападения, то и близкий человек становится частью периметра, за которым надо следить. Я так жил годами и удивлялся, почему рядом

со мной трудно дышать. Я заметил, что в хозяйстве есть место благодарности, а в обороне нет. Когда человек соблюдает правило, которое мы вместе установили, я вижу его усилие и могу его отметить. В обороне соблюдение воспринимается как должное, потому что так и должно быть, и потому никто никого не благодарит.

Оборона и хозяйство

Я думал, что граница — это оборона. Что её ставят, когда нападают, и что после неё отношения становятся осторожнее и беднее. В этой логике каждый разговор о неудобном был боем, а каждый собеседник — противником, который вот-вот пойдёт на штурм. Оборона требует постоянного напряжения. Надо следить за периметром, замечать подходы, держать порох сухим. Человек, живущий так, устаёт от собственного дома, потому что дом превращается в укрепление, а близкие в вероятного противника.

Хозяйство устроено иначе. В хозяйстве есть стены, но они нужны не для боя, а для тепла: чтобы было где спать, что хранить, куда приглашать. Никто не охраняет свой дом круглосуточно, потому что стены работают сами, а силы нужны на другое. Разница видна по тому, что человек чувствует после разговора. После обороны остаётся напряжение и желание проверить, не прорвались ли где-то. После хозяйства остаётся усталость от работы и ощущение, что стало просторнее.

Я перешёл на хозяйство случайно, когда перестал считать, что меня атакуют. Оказалось, что большинство людей не на-

падают, а просто не знают, как у меня устроено. Они натыкаются на стены, которых не видели, и удивляются, что я злюсь. С тех пор я строю так, чтобы было видно. Правило, которое знают оба, работает без охраны; правило, которое знаю только я, требует, чтобы я стоял рядом. А стоять рядом всю жизнь невозможно, и потому такая стена рано или поздно падает вместе с отношениями.

Я замечал, что накопление идёт слоями. Сначала копится раздражение, потом обида, потом усталость, и только на последнем слое человек понимает, что дело не в мелочах. К этому времени он уже не помнит, с чего началось, и потому не может объяснить, что именно его ранит. Есть и внешний признак, по которому видно, что дом переполнен. Люди начинают говорить осторожно, как по тонкому льду, и эта осторожность не обсуждается. Все чувствуют, что здесь нельзя чего-то касаться, но никто не называет, чего именно, и потому запрет распространяется на всё.

Однажды я попробовал представить, что было бы, если бы я говорил о каждом неудобстве сразу. Первая мысль была, что мы бы ссорились каждый день. Вторая, более честная: мы бы ссорились месяц, а потом обнаружили, что говорить почти не о чем, потому что всё мелкое уже разрешено.

Как копится

Без границы копится. Обиды, невысказанное, мелкие уступки, которые каждая по отдельности ничего не стоят. Накопленное не исчезает, оно ждёт повода и выходит целым,

вместе с процентами, которых никто не считал. Я замечал, что копится незаметно. Человек не решает терпеть год; он терпит один вечер, потому что устал, и второй, потому что не хочется портить выходные. Через год он обнаруживает, что живёт с человеком, которому давно ничего не говорит, и не может вспомнить, когда это началось.

Самое неприятное в накоплении то, что оно не имеет автора. Никто не виноват: каждый отдельный раз был разумным, и каждый отдельный раз можно было объяснить. Виноват только порядок, который сложился сам, из разумных решений, и этот порядок теперь управляет людьми. Граница нужна не чтобы оттолкнуть, а чтобы не пришлось однажды взрываться. Она работает как клапан: выпускает понемногу, вместо того чтобы сорвать крышку. И как всякий клапан, она требует регулярности, а не героизма.

Я замечал, что люди, у которых есть этот клапан, кажутся скучными. Они не устраивают сцен, не хлопают дверьми, не уходят на два дня. Зато они не накапливают, и потому у них нет того напряжения, которое чувствуется в доме за минуту до скандала. Есть и обратная сторона: клапан требует, чтобы его открывали. Если правило объявлено, но никто не говорит, когда оно нарушено, оно превращается в формальность. Граница живая, пока по ней ходят, и мёртвая, когда о ней только помнят.

В дружбе границы нужны реже, чем в семье, потому что дружба держится на выборе, а не на совместном быту. Дру-

зья не делят кухню и не решают, кто выносит мусор, и потому поводов для столкновений меньше. Но и там есть свои правила, просто их называют по-другому: не звонить ночью, не занимать денег без просьбы, не рассказывать чужих секретов. С коллегами всё наоборот: там границы нужны постоянно, потому что люди связаны делом, а не чувством. Рабочие границы проще объявлять, потому что они звучат как регламент, а не как личное. И именно поэтому на работе я долго справлялся лучше, чем дома: там было принято говорить о правилах, а дома нет.

Есть и ещё одна категория, о которой обычно молчат: отношения с теми, кто не умеет слушать. С ними граница превращается в монолог, и держится она не на договорённости, а на моём поведении. Это не значит, что разговаривать бесполезно; это значит, что проверять надо не по его словам, а по своим поступкам.

Где граница не нужна

Есть отношения, где граница почти не нужна, и делать вид, что она нужна везде, было бы неправдой. Их немного, и они держатся на людях, которые сами умеют останавливаться: не давят, не заходят без стука, не берут без спроса. В таких отношениях правило всё равно есть, просто его не замечают, потому что оно совпадает с желаниями обоих. Никто не объявляет, что после десяти не звонят, потому что оба после десяти спят. Граница существует, но она невидима, как воздух, и о ней вспоминают только при нарушении.

Такие отношения кажутся подарком, и в них легко поверить, что границы вообще не нужны. Я так и верил, пока не попал в другие, где совпадение закончилось. Оказалось, что невидимая граница держалась не на волшебстве, а на совпадении, и когда оно кончилось, граница исчезла вместе с ним. Есть и ещё один случай: короткие отношения, где границы не успевают понадобиться. Курортный роман, случайный попутчик, разговор в поезде. Там нет быта, а значит, нет и поводов, и всё, что могло бы стать правилом, остаётся теорией.

С детьми граница нужна всегда, даже если кажется, что не нужна. Ребёнок не может сам установить край, потому что у него нет опыта, и если край не установит взрослый, ребёнок будет искать его наугад, натыкаясь на опасности. С пожилыми родителями сложнее, потому что там граница часто совпадает с нуждой. Если человек не может сам себя обслужить, разговор об условиях превращается в разговор об уходе, и это уже другая тема, требующая отдельной честности.

Я делал этот список дважды, с разницей в год, и результаты не совпали. В первый раз я защищал тишину и время, во второй — возможность говорить о том, что мне тяжело. Оказалось, что сначала я защищался от людей, а потом начал защищать место для разговора, и это разные вещи, хотя выглядят похоже. Список полезно показывать тому, кто рядом. Не для согласования, а для того, чтобы человек увидел карту и не натыкался вслепую. Я показал свой один раз, и это ока-

залось короче любого объяснения: три пункта, прочитанных вместе, заменили полгода догадок.

Есть ещё одна колонка, которую я добавил позже: что я готов отдать. Не всё в списке имеет одинаковый вес, и полезно знать, где я могу уступить без потери. Это спасает от крайностей: человек, который не готов уступить ни в чём, становится невыносимым, а тот, кто уступает всегда, не имеет границы вовсе.

Список защищаемого

Приём простой, и в нём три части. Первая: написать, что именно я защищаю. Не «своё пространство», а конкретно: утренние полчаса, право не отвечать на звонки в выходные, возможность говорить о работе без советов. Вторая: написать, от чего защищаю. Не «от тебя», а от чего-то определённого: от шума, от внезапных планов, от разговоров, которые начинаются в полночь. Конкретное можно учесть, общее можно только принять на веру.

Третья: написать, для чего. Это самая важная колонка, потому что в ней появляется смысл. Если ответ «чтобы мне было спокойнее», граница остаётся обороной. Если ответ «чтобы мы могли разговаривать, не взрываясь», она становится чем-то другим.

Проверить, получилось ли, можно по третьей колонке. Если в ней есть ответ, который касается не только меня, значит, граница не про оборону. Если ответа нет, стоит подумать, не пытаюсь ли я просто отгородиться и назвать это работой

над отношениями. Бывает, что в третьей колонке оказывается честное «чтобы я выжил в этом доме». Это тоже ответ, и его не надо стыдиться. Иногда граница нужна именно для выживания, и тогда она законна, даже если никому, кроме меня, не приносит пользы.

И последнее: список стоит перечитывать. Он меняется, потому что меняются обстоятельства: появляются дети, уходят родители, меняется работа. То, что защищало год назад, может сейчас мешать, и заметить это можно только по списку. Я думаю, что главное изменение не в том, что я стал что-то запрещать или разрешать. Главное в том, что я перестал ждать, что человек догадается. Ожидание догадки было главным источником обид, и когда оно ушло, ушли и обиды, хотя поводов меньше не стало.

Через год я спросил, что изменилось. Человек сказал: стало понятнее, где ты, и добавил, что раньше я был как погода, а теперь как климат. Я тогда не понял, а потом догадался: погода меняется каждый день, а климат предсказуем, и жить в предсказуемом климате можно, даже если он не идеальный.

Я не думаю, что этому можно научить словами. Всё, что я описал, я понял, потому что несколько раз сделал неправильно и увидел последствия. Книга может только назвать вещи, а названное легче заметить, когда оно случится с тобой.

Есть и практическая сторона, без которой всё это остаётся разговором о чувствах. Граница, которую нельзя проверить,

не работает: нужно знать, что я сделаю, если она нарушена. Не наказание, а действие: уйду из комнаты, не продолжу разговор, не дам денег. Действие должно быть таким, чтобы я мог его выполнить в одиночку и без свидетелей.

Для чего

Теперь я думаю о границе как о хозяйстве, и это изменило тон. Я не обороняюсь, а устраиваю: где-то ставлю стену, где-то дверь, где-то просто убираю лишнее. И в этом есть удовольствие, которого не было в обороне, потому что оборона всегда про страх, а хозяйство про жизнь.

Я заметил, что после таких разговоров люди становятся внимательнее. Не потому, что боятся, а потому, что знают карту. Человек, который знает, где у тебя болит, может обойти, а человек, который не знает, наступает случайно и потом удивляется.

Самое неожиданное следствие оказалось в том, что стало меньше лжи. Раньше я врал мелочью: говорил, что не обиделся, что мне всё равно, что я не устал. Теперь мне не надо врать, потому что правда перестала быть опасной: она не ведёт к ссоре, она ведёт к разговору.

Я не стал человеком с крепкими нервами. Я по-прежнему устаю, злюсь и иногда молчу дольше, чем нужно. Разница в том, что теперь я знаю, что с этим делать, и не жду, что само пройдёт. Я защищаю не себя от тебя. Я защищаю нас от того, что копится.

Была и другая ночь, после другого разговора, когда я не

спал до утра. Тогда я сказал слишком много и слишком резко, и утром мы оба ходили как после болезни. Я до сих пор не знаю, была ли та граница правильной, но точно знаю, что форма была неправильной: я говорил не о себе, а о нём. Я тогда записал в блокнот одну фразу, чтобы не забыть: граница нужна не для того, чтобы стало тихо, а для того, чтобы стало можно. Тихо бывает и в пустой квартире, и в доме, где все боятся слово сказать. А можно — это когда разговор не заканчивается катастрофой.

Если любишь, то без условий

Фразу «люблю тебя любым» я слышал в детстве и говорил сам, и всегда считал её правильной. Она звучит как обещание, и в ней есть щедрость, которая не требует ответа. Проблема была в том, что рядом с ней всегда стояла вторая, не произнесённая вслух: но будь таким, как мне удобно.

Я потратил годы, чтобы разобрать эти две фразы. Оказалось, что безусловная любовь существует, но живёт она не там, где я её искал, и не в тех отношениях, где её обещают.

Разговор о любви

Я слышу «если ты меня любишь, ты не будешь ставить условия» и замолкаю, потому что спорить с этим как будто нельзя. Фраза звучит благородно: любовь не торгуется, не выставляет счётов, не требует. Кто же будет возражать против такой любви. Я возражаю, но не вслух. Внутри у меня всё сопротивляется, потому что я знаю, чем заканчиваются отношения без условий: один человек живёт, а второй обслуживает его состояние. Условий нет только у того, кто ничего не просит, а ничего не просит только тот, кому уже всё равно.

Мы сидим на кухне, и разговор идёт по кругу. Она говорит, что любовь не должна зависеть от поведения. Я говорю, что не зависеть она может, а жить рядом я могу только при некоторых условиях. Мы оба правы и говорим о разном, и это самое трудное в таких разговорах.

Я пробую объяснить на примере. Если человек кричит на меня каждый вечер, я не перестаю его любить, но я перестаю с ним жить. Это два разных решения, и второе не отменяет первого. Она слушает и говорит, что это жестоко. Я говорю, что жестоко как раз оставаться и копить.

К утру мы ни к чему не приходим, но я замечаю важное: я впервые сказал вслух то, что думал годами. Раньше я соглашался с фразой про безусловную любовь, потому что не хотел выглядеть расчётливым. Теперь я понимаю, что расчёт тут ни при чём: речь не о том, сколько я готов дать, а о том, сколько я могу вынести. С этого разговора началось моё долгое расставание с одной идеей. Идея была красивая: любовь не ставит условий. Проблема в том, что жить по ней можно только с младенцем, который ещё не умеет требовать. Со взрослым она превращается в разрешение брать сколько угодно.

Я поймал себя на том, что повторяю это со своей женой. Я говорил, что люблю её любым, и одновременно обижался, когда она вела себя не так, как мне хотелось. Она не могла понять, что происходит: слова говорили одно, лицо другое, и она верила лицу. С детьми это передаётся быстрее всего, потому что они читают не слова, а напряжение. Ребёнок, выросший с двойным посланием, потом всю жизнь не доверяет словам о любви. Он ждёт подвоха и проверяет, не соврали ли ему, и эта проверка портит ему отношения задолго до того, как он поймёт, откуда она.

Есть и практическое следствие, о котором я узнал от человека, работающего с семьями. Дети не слышат слов о любви, если рядом звучит другое. Они верят не декларации, а тому, как с ними обращаются в момент, когда им неудобно. Поэтому бесполезно говорить ребёнку, что его любят любым, и одновременно отворачиваться, когда он неудобен.

Двойное послание

В моей семье любовь давали за хорошее поведение, но называли её безусловной. Это был главный урок детства, и я выучил его лучше всех остальных: условия есть, но говорить о них нельзя, потому что тогда ты плохой. Работало это так. Если я был удобным, меня хвалили и обнимали. Если неудобным, со мной не разговаривали и смотрели так, что становилось ясно. При этом вслух говорилось, что меня любят любым, и что любовь не зависит ни от чего.

Ребёнок не может разобрать такое противоречие, поэтому он выбирает одну часть и держится за неё. Я выбрал слова: меня любят любым. А поведение родителей объяснял тем, что я недостаточно хорош, и значит, виноват сам. Так появилась привычка, которая потом стоила мне многих лет. Я считал, что любовь ко мне не зависит от моего поведения, и одновременно был уверен, что любое недовольство означает, что я её лишился. Обе вещи жили во мне одновременно и не мешали друг другу.

Во взрослых отношениях это выглядело странно. Я мог терпеть годами, потому что «любят любым», и одновремен-

но паниковать из-за любого холодного взгляда, потому что «значит, разлюбили». Я не замечал противоречия, потому что оно было моим с детства. Теперь я думаю, что двойное послание это не злая воля, а неумение. Родители тоже выросли в таком же доме и тоже не знали, как соединить любовь с требованиями. Они делали единственное, что умели: любили и требовали одновременно, надеясь, что ребёнок как-нибудь разберётся.

Разбираться приходится всю жизнь. И первое, что нужно разобрать, — это как раз фраза про безусловность. Пока она звучит как идеал, любое моё условие кажется предательством любви. Есть ещё один случай, где безусловность уместна: когда человек потерял способность быть взрослым. После инсульта, в глубокой деменции, в тяжёлой болезни он снова становится тем, кто не выбирает. Тогда любовь без условий — не слабость, а единственная форма, которая остаётся.

Я думаю, что именно поэтому фраза про безусловную любовь так живуча. Она верна для тех моментов, когда человек беспомощен, и её переносят на всю жизнь, потому что боятся, что иначе не хватит сил. Но сила как раз в различении: с беспомощным — безусловно, со взрослым — по-взрослому.

Безусловность с младенцем

Безусловная любовь существует, и я не собираюсь это оспаривать. Она существует там, где у другого нет выбора: с младенцем, с тяжело больным, с человеком, который не

может позаботиться о себе. Там любовь действительно не зависит ни от чего. Младенец не может быть удобным или неудобным. Он кричит, когда ему плохо, и не думает о том, как это воспримут. Любовь к нему не может быть обусловлена поведением, потому что поведения ещё нет, есть только нужда. И это правильно, иначе дети не выживали бы.

Но именно потому, что это правильно для младенца, это неправильно для взрослого. Взрослый может быть удобным и неудобным, может выбирать, может договариваться. И если я люблю его так же, как младенца, я отказываю ему во взрослости. Безусловность со взрослым превращается в разрешение брать сколько угодно. Человек быстро понимает, что его не оставят, что бы он ни делал, и это не делает его лучше. Оно делает его одиноким, потому что рядом с ним не партнёр, а источник, который не иссякает.

Есть и другая сторона: тот, кто любит безусловно, постепенно теряет себя. Он не может сказать «мне больно», потому что больно бывает только у требующих. Он не может уйти, потому что уход — это условие. И через годы он обнаруживает, что живёт с человеком, которому нечего ему предъявить, потому что он никогда ничего не просил. Я не хочу сказать, что надо любить с оговорками. Я хочу сказать, что любовь и совместная жизнь это две разные вещи, и вторая требует условий. Можно любить человека и не жить с ним, и это не противоречие, а честность.

Есть пары, которые любят друг друга и не живут вместе. Я

знаю нескольких таких людей, и поначалу это казалось мне поражением. Потом я увидел, что они встречаются, разговаривают, помогают друг другу и при этом не мучают. Их любовь не стала меньше, она стала другой формы.

Расстояние вообще многое проясняет. Пока люди живут в одном доме, они не видят, где кончается любовь и начинается быт. Стоит разъехаться, и видно: если осталось только быт, значит, любви было немного. Если осталось чувство, значит, всё это время оно держалось не на совместном холодильнике. Я заметил, что люди, которые умеют разделять любовь и быт, выглядят спокойнее в ссорах. Они не говорят «ты меня не любишь», они говорят «мне не подходит, как мы это делаем». Первое ставит под вопрос всё, второе только способ, и второе можно исправить.

Любить и жить рядом

Любить и жить рядом — не одно и то же, и путаница между этими вещами создаёт половину проблем в близких отношениях. Любовь не спрашивает условий, она просто есть или её нет. Совместная жизнь состоит из быта, привычек, расписания, и в ней условия неизбежны.

Я могу любить человека и не переносить его крик. Могу любить и не выдерживать его молчания по три дня. Могу любить и не хотеть жить в доме, где всё решается без меня. Всё это не отменяет любви, оно только описывает, какая жизнь для меня возможна.

Проблема в том, что в нашей культуре эти вещи соедине-

ны. Считается, что если любишь, то вытерпишь, а если не вытерпел, значит, не любил. Я вырос с этой формулой и много лет измерял свою любовь количеством вытерпленного, что было удобно всем, кроме меня.

Формула эта ещё и невыгодна тому, кого любят. Человек, который знает, что его вытерпят, не получает обратной связи. Он живёт, не зная, где причиняет боль, потому что ему никогда не говорили. И однажды узнаёт, что рядом с ним двадцать лет страдали молча.

Я пробовал разделять и понял, что это освобождает. Когда я говорю «я тебя люблю, и я не буду жить в крике», я не ставлю под сомнение любовь. Я говорю о том, что для меня возможно, и оставляю человеку право решать, подходит ли ему такая жизнь.

Самое трудное в этом разделении — не обидеть. Человек слышит «условия» и думает, что его любят за что-то. Приходится объяснять, что условия не про любовь, а про быт, и что быт можно менять, а любовь от этого не страдает. Иногда объяснять приходится много раз.

Первый раз, когда это сработало, я запомнил по тишине. Я сказал свои две фразы, человек молчал, и я успел испугаться. Потом он спросил: а что будет, если я всё равно буду кричать. Я сказал, что уйду в другую комнату и вернусь, когда смогу. Он кивнул, и на этом разговор закончился.

Бывает, что человек плачет. Это не значит, что условие жестокое, и не значит, что его надо отменить. Слёзы гово-

рят, что человеку больно, и больно бывает от правды. Если отменять всё, от чего человек плачет, я никогда ничего не скажу, и мы будем жить в мире, который держится на моём молчании.

Самое трудное в третьем шаге — не начать оправдываться, если человек расстроился. Оправдание возвращает нас туда, откуда мы вышли: раз я объясняю, значит, сомневаюсь. Лучше выдержать паузу и повторить условие, не меняя ни слова.

Условия вслух

Приём простой, и в нём три шага. Первый: назвать условие, коротко и без оправданий. Не «я хочу, чтобы ты…», а «я не буду жить в доме, где…». Одно предложение, в котором есть моё действие, а не его обязанность.

Второй: сказать, что оно не про любовь. Это важная часть, потому что без неё условие слышится как угроза. «Я тебя люблю, и это не изменится. Но жить я могу только так». Две фразы рядом, и вторая перестаёт отменять первую.

Третий: проверить, как услышали. Если человек услышал угрозу, надо повторить иначе. Если услышал условие, можно договариваться. Разница видна по реакции: на угрозу отвечают защитой, на условие — вопросом или кивком.

Мерка для этого одна: осталась ли любовь в разговоре. Если после моих слов человек чувствует, что его разлюбили, значит, я сказал не то. Если чувствует, что его просят, значит, сказал то. Бывает, что человек не принимает условие

и говорит, что так не любит. Это честный ответ, и его надо уважать. Тогда перед обоими встаёт вопрос, можно ли жить вместе при разных условиях, и ответ на него не всегда положительный.

И последнее: условие должно быть выполнимым для меня. Если я говорю, что не буду жить в крике, я должен знать, что сделаю, когда крик начнётся. Иначе это не условие, а пожелание, и человек это почувствует.

Через год я спросил, как это выглядело со стороны. Человек сказал: сначала как ультиматум, потом как облегчение. Я спросил, что изменилось, и он ответил, что перестал бояться моих внезапных обид. Раньше он не знал, где я взорвусь, а теперь знал, где проходит черта, и это оказалось спокойнее.

Я не думаю, что этому можно научиться из книги. Скорее книга даёт слова, которые потом всплывают в нужный момент. У меня так и было: я прочитал похожую мысль много лет назад, не согласился, а через год вспомнил в разговоре, и она сработала.

Не про любовь

Теперь я говорю об условиях вслух, и это оказалось менее страшно, чем я думал. «Я тебя люблю. И я не буду жить в крике». Две фразы, и в них нет ни угрозы, ни торга, только правда о том, что для меня возможно.

Сначала я боялся, что эти слова разрушат всё. Мне казалось, что человек услышит «ты плохой» и уйдёт. На деле он услышал другое: что я не собираюсь исчезать, но и не соби-

раюсь терпеть. Это оказалось более надёжной основой, чем молчаливая выдержка.

Я заметил, что после таких разговоров любовь не уменьшается, а становится яснее. Раньше она была фоном, на котором происходило всё остальное, и я не мог её назвать. Теперь она отдельная вещь, которую можно назвать вслух и не бояться, что она рассыплется. Со мной произошло то же самое с другой стороны. Когда мне сказали условие, я сначала обиделся, а потом почувствовал облегчение. Оказалось, что знать, где предел, легче, чем жить в догадках и бояться ошибиться.

Я не стал человеком, который любит с оговорками. Я стал человеком, который знает разницу между чувством и бытом. Чувство не спрашивает, быт требует, и путать их значит обрекать другого на жизнь с моими молчаливыми ожиданиями. И тогда стал виден страх, который за этим стоял.

Я знаю пару, которая прожила вместе двадцать лет и развелась без скандала. Никто никого не предавал, не бил, не обманывал. Просто один человек двадцать лет не мог сказать, что ему не нравится, и в какой-то момент понял, что больше не может вообще ничего. Когда я спрашиваю людей, что для них значит «ставить условия», ответы расходятся до противоположности. Для одних это про деньги и быт, для других про уважение, для третьих про возможность побыть одному. Условие — это не универсальная вещь, у каждого свой список, и его почти никогда не показывают.

Есть и языковая ловушка, из-за которой этот разговор идёт по кругу. Слово «условие» звучит как сделка, хотя означает всего лишь границу. Можно было бы говорить «предел» или «правило», но и они обрастают тем же смыслом, потому что в нашей речи любое ограничение пахнет торгом.

Я боялся, что стану чужим

Первый раз я сказал «нет» человеку, которого любил, и вечером ходил по квартире, как после потери. Ничего не случилось: он не ушёл, не заплакал, не перестал со мной разговаривать. Но внутри у меня всё было готово к тому, что сейчас начнётся.

Страх потерять близких из-за границы был у меня сильнее любой обиды. Я был уверен, что отношения держатся на уступках и что первая же твёрдость их разрушит. Понадобилось несколько лет, чтобы проверить это на опыте.

Вечер после первого нет

Я сказал «нет» в четверг, и весь вечер ждал, что меня разлюбят. Не поссорятся, не накричат, а тихо перестанут звать. Я представлял, как через месяц меня не пригласят на день рождения, а через год я узнаю о нём из общей переписки. Ничего не случилось. Человек пожал плечами и через час спросил, буду ли я чай. Я сказал, что буду, и мы пили чай на кухне, и разговор шёл как обычно, и я всё это время ждал подвоха, потому что не верил в такое спокойствие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.